

**Константин Дмитриевич
Бальмонт**

Под новым серпом

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Константин Дмитриевич Бальмонт

Под новым серпом / Константин Дмитриевич Бальмонт – М.: Книга по Требованию, 2011. – 150 с.

ISBN 978-5-4241-1595-0

Константин Дмитриевич Бальмонт - представитель старшего поколения русских символистов (наряду с В.Я.Брюсовым). С одухотворенной, мелодически завораживающей поэзии Бальмонта и начинается символизм - основное художественное направление в искусстве Серебряного века.

ISBN 978-5-4241-1595-0

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Константин Бальмонт
Под новым серпом

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Четыре котенка нежатся на теплой завалинке, разогретые лучом весеннего Солнца. Они вертятся, льнут друг к другу, ложатся — один на спинку, другой на бочок, поднимают вверх лапки, ловят что-то воображаемое, мурлычат, сверкают глазенками, и у каждого на уме свое, у одного непохожее на то, что у другого, все они грезят по-разному. Они от одной матери, и мать серая, но они все разные, один черный, другой тоже черный, но с белою грудкой, и третий рыженький, а четвертый пестрый. Когда они вырастут, они и вовсе будут разные по нраву. Один будет тихонько мурлыкать и все больше лежать на лавке и смотреть в окно, а другой будет честно ловить мышей, а третий полюбит подстерегать птичек, а четвертый все будет таскать со стола, как его ни наказывай, будет смотреть на хозяйку полустылыми, лживыми глазами, и, что с ним ни делай, воровское сердце будет вовлекать его в воровство.

Вон у рябой курицы сколько желтеньких цыплят. Все они желтенькие и точно игрушечные. Как будто их нарочно сделали на Пасху, чтобы дети на них тешились. Но и у них будет у каждого особый нрав. Только люди, живущие в больших городах и не видящие природы и всего, что в ней, воображают, что все существа одной породы одинаковы. Так точно европейские путешественники, в первый раз приехавшие в Африку, находят, что все негры на одно лицо. Потом они узнают, что это не так. И когда на деревне под утро поют петухи, четко можно услышать, у какого петуха голос всех чище и звончее. И тоже ведь есть где-то бои петухов, и некоторые из них совсем герои, даже бывают прославленные.

А жаворонки? А соловьи? Иной поет как будто пожилой тенор, охрипший от вчерашнего кутежа. Только старается и красуется, а ничего у него не выходит. А бывает такой, что сердце плачет, его слушая, и не знаешь, чего хочешь, душа из тела просится, и хочется ей утонуть в голубом, глаза закрываются сами, и кажется, что на лице поцелуй горит. Одна и та же песня по-разному звучит. Одно и то же слово два разные человека скажут, и сердце порвется надвое. Не узнаешь, кого слушать, за кем идти.

Эти мысли мелькали в молодой умной женской головке и не давали ей покоя. Не давало ей покоя, впрочем, не это размышление, а что-то совсем другое.

Ирина Сергеевна была женщина мечтательная и капризная. Пожалуй, из каприза она и начала вызывать в своей душе весенние образы, когда кругом шелестели желтые листья и легкие паутинки носились по воздуху в луче золотого сентября. Может быть, впрочем, совсем не из каприза. Лицо ее было скорей грустное и озабоченное.

Выйдя из усадьбы одна и миновав деревню, она шла по сжатому выветренному полю к недалекому леску, из которого доносился звонкий и дружный лай гончих. «Опять эта дикая забава, — подумала с недовольством молодая женщина. — Изю дня в день, изю дня в день одно и то же».

Ирина Сергеевна не только не отрицала охоту вообще, но и сама не раз охотилась с мужем своим, Иваном Андреевичем Гиреевым, на волков и лисиц. Но-

ситься с борзыми на быстром коне по дикому полю и чувствовать, как ветер свистит и справа и слева, а конь горячо дышит, волнуясь и радуясь заодно с седоком, это, конечно, настоящее занятие, достойное человека, любящего волю. Но целую неделю травить зайцев, забывая обо всем другом на свете, это мелко, это ничтожно.

Поредевшая лесная опушка, в своем желто-красном уборе, с преимущественным изобилием воздушно-желтого цвета всяческих оттенков, была уже совсем близко, и звонкая стая гончих — было явственно слышно — вела свой переливчатый лай, уклонявшийся то правей, то левей, не в глубь леса, а ближе, к опушке. Ирина Сергеевна узнавала отдельные голоса собак. Вот лает с подвизгиванием Заноза, пестрая сучка с голубыми глазами, вот захлебывается от нетерпения рыжий Терзай, не отстают в усердии Сбой, Кусач и Нагоняй, и всем дружным лаем, покрывая его и густо окутывая, правит, как властный бас, глухим своим голосом Громило.

Ирина Сергеевна знала, что встретится с охотой. Она была бы не прочь обрадовать своим неожиданным появлением черноглазого и черноусого своего Ванничку, к которому уже несколько дней она опять чувствовала, за полосой охлаждения, чрезвычайную нежность, то истомное стремление, которое заставляет говорить любимому — желанный. Она знала, что глаза его засияют доброй кроткой улыбкой, немного застенчивой, точно он стыдится собственной своей нежности, и она скажет ему: «У! бука! У! злой! У! злой! Опять убежал от меня. Домой пора». Ирина Сергеевна хотела встретить Ивана Андреевича и закрепить в своей душе что-то большое и светлое. Ей совсем не хотелось встретиться с его приятелем, вместе с ним охотившимся, Зигмунтом Огинским. После того, что было — один только раз, так жутко, и ярко, и неожиданно, два года тому назад между ними, — один только раз, — она не хотела его больше видеть, и он честно выдержал разлуку целых тринадцати месяцев, выдумав себе поездку в польское свое имение, в Виленской губернии. Но два уже месяца, как он вернулся и снова дружил с Гиреевым, и опять они весело выхвалялись друг перед другом охотничьими подвигами. Красивый поляк, с синими глазами и орлиным носом, несколько надменный, но и безукоризненно-вежливый, умел достигать, чего хотел, и снова пытался завладеть ее душой. Но довольно. Польский язык она с ним изучила. Нового Мицкевича, Словацкого и Красинского он не выдумает. А их она уже прочла, и многое другое. «Ванничка не любит стихов и не читает книг, а когда я играю на фортепьяно или когда на деревне водят с песней хоровод, какое у него тогда лицо, лучше любой поэмы. Зигмунт, — Ирина Сергеевна мысленно сказала, „Зигмунт“⁴, — умеет красно говорить, но кажется, что книги и стихи любит он так же, как свою двустволку, чтоб застрелить побольше дичи, и своего лягавого Вавеля, которого можно послать куда угодно, делать стойку и смотреть на приказывающего покорно услужливыми собачьими глазами. Нет, от меня он этого не дождется».

Встретилась, однако, Ирина Сергеевна не с мужем, а с Зигмунтом Огинским, едва только вошла за первыми деревьями опушки на лесную лужайку. Можно было подумать, что Огинский ее ждал, хоть она и не говорила, что придет в лес. Он стоял у ствола березы и, увидев ее, быстро подошел к ней. Она опустила глаза, тотчас же вскинула их и с бьющимся сердцем молчала. Тонкий свист синицы перепорхнул над ними, и бисерный напев синей птички рассыпался в

близком осиннике разбившимся тонким хрусталем. Волна собачьего лая шатнулась, хоровой возглас гончих, качнувшись налево и направо, помчался куда-то в сторону. Солнечный луч пронизал круглое кружево паутины, дрожавшее между двумя изумрудными ветками развесистой ели, и по отдельным паутинным клеточкам заиграли малые радуги. В воздухе слышался крепкий и острый дух где-то близко скрывавшихся груздей.

— Ирис, — сказал Огинский (он так когда-то ее звал). — Мой милый Ирис, зачем так мучить меня? Разве я не люблю?

Ирина Сергеевна молчала. Этот голос ее волновал. Эти слова ей нравились. Острый свист синиц перепархивал и разбивал хрусталинки.

Огинский взял ее за руку.

— Моя милая, — сказал он. Сильным, но ласковым движением он потянул ее к себе.

Где-то хрустнула ветка, и с березы дождем посыпались желтые листья. Ирина Сергеевна резко высвободила свою руку, гордо закинула голову и воскликнула с горячностью:

— Никогда! Никогда больше!

Она отступила, повернулась и, точно за ней была погоня, со всех ног выбежала из лесной опушки на опустевшее поле.

Высоко, от Севера к Югу, в бледной лазури неба, с долгим кличем-перекликаньем, тянули журавли. Их было семь, и мерный треугольник их ускользал с такой правильной торжественностью, точно полет их был размеренным служением на верховной светлой обедне.

2

Этот сентябрьский день с следовавшей за ним ночью, отмеченной тонкою ладью Новолунья, был из тех дней, в которые случается что-нибудь, оставляющее надолго неукоснительный след в жизни нескольких людей. Значительность совершившегося бывает часто совсем не видна тем самым людям, в чьих руках пряжа совершающегося, и лишь много времени спустя человеческая мысль припоминает дни и числа и узнает, с какого мгновения протянулась вот эта полоса очевидности, столь богатая сложностью, столь исполненная счастья или несчастья.

А так это был день как день, похожий на другие дни начала сентября, месяца особенно нарядного, золотистого и воздушного, полного невыразимой прелести прощанья, грусти и радости вместе, впервые обозначившихся просторов среди пустынных полей и в поредевших, но расцвеченных лесах, новая особенная тишь над гладью темно-синих затонов, очарование длинных летучих паутинок, крики отлетных гусей и журавлей, яркий пурпур ликующих настурций.

Ирина Сергеевна зашла в сад. Она глянула в садовый чан — там на воде зеленел сплошной круглый ковер разросшейся ряски. Тут же рядом были парники, и плоские их малые оконца, изнутри замгленные, мерцали отдельными каплями, повисшими на стенке от внутреннего тепла. Солнце грело совсем по-летнему, и редкие, но странно звонкие в опустошенном осеннем саду, грелись под лучом и перелетали шмели и осы. Ирина Сергеевна прошла мимо посеревшего, шероховатого малинника в ту часть сада, которая носила название Большой Сад — название пышное и не вполне верное. Это была лишь крестообразная липовая аллея,

с круглой лужайкой посредине и соразмерно расположенными четырьмя деревянными скамейками. Ограды в этой части сада не было с трех сторон. Одна сторона была защищена кустами рябины и развесистым деревом черемухи; другая выходила на луг, смежный с господским полем; третья лишь канавой была отделена от крестьянского поля; на четвертой, примыкавшей забором к плодовому и цветочному саду, была беседка из акации, и эта сторона упиралась, кроме того, в задние стены построек, расположенных рядом, — амбар, погреб, другой амбар, каретный сарай, конюшня.

Ирина Сергеевна поспешно и нетерпеливо ходила взад и вперед по главной дорожке липовой аллеи. Мысли пронеслись в ее душе беспорядочно, и она думала о многом сразу. И все же одно имя упорно повторяла про себя: «Ваня!» И одно чувство билось в ней и плескалось как пойманная серебряная рыбка, — чувство порывистой нежности к мужу, смешанное с жалостью, беспредметной и разливающейся на все. Ей было жаль, что желтые листья опадают, и жаль, что нельзя что-то сделанное сделать несделанным, и жаль мохнатого черно-желтого шмеля, который упал на землю и, оцепенелый, не в силах был взлететь, и жаль себя, бесконечно жаль, что никто не видит, сколько нежности у нее в сердце, никто, и прежде всего не видит он, желанный, он, которого она ни на кого не променяет.

«Я люблю Ваню! Я люблю Ваню! — упрямо повторяла она про себя. — Я люблю его, и пусть кто угодно, хоть собственная его мать, говорит, что я только играю в любовь с ним, это неправда, низкая неправда».

Листья падали. Сколько желтых листьев, шуршащих под ногой. Откуда столько желтых листьев? Разве было их столько весной, когда они были зеленые?

— Тук-тук, — прозвучал веселый стук дятла, перебежавшего вверх по стволу липы. — Тук-тук. Тук-тук. — Прилежный молоточек стучал.

Ирина Сергеевна остановилась, и с наслаждением почувствовала, как стройная ее ножка утонула в опавших желтых листьях. Молодое сердце билось. Молодое сердце хотело ласки. Полной ласки. Всего счастья. Поцелуя, открывающего невидимые окна, которые вдруг распахнутся в огромное, голубое пространство. Поцелуя, раздвигающего широкие темные завесы, за которыми звезды, и новый серп Луны.

— Тук-тук, — стучал веселый дятел и, обезвав вокруг ствола, взмахнул своими черными крыльями, мелькнул своей красной шапочкой и перелетел на другую липу, ожившую от пробега прилежного молоточка.

3

Охотники увлеклись своим легким подвигом и прибыли домой только к вечеру. Были, конечно, упреки, но не надолго. Да и что ж упрекать? Завтра опять чуть свет утащатся на свою охоту. Это знала не только молодая барыня. Доподлинно это знали и Андрей Культияпый, кучер и главный охотник Ивана Андреевича, и зловещий, высокий как жердь Мишка Шагин, кучер и главный охотник Огинского, загостившегося в усадьбе Большие Липы у Гиреевых.

Если долго отсутствовали охотники, зато и недаром. Зайцев они добыли столько, что ключница Устинья, она же и кухарка, немолодая черноглазая женщина лика раскольницы, диву далась и спрашивала себя, что же она будет со всем этим добром делать. Впрочем, затрудненье небольшое. Бары ведь передков за-

ячих не едят, они пойдут дворовым псам, вот и зайцев стало вдвое меньше. Сама Устинья, так же как и дворовые мужики, гнушалась этим кушаньем. Мужики полагают, кажется, и доселе, что заячье мясо то же, что кошачье. А бары съедят. Чего они не съедят?

Устинья причитала и стряпала. Стряпуха она была образцовая и хозяйственная женщина на редкость. Иван Андреевич из всей дворни ее больше всех почитал и называл не иначе как Устинья Архиповна. «Та молодая бабенка, это модница-то, которая все больше насчет цветочков да катанья верхом, молодая барыня-пустяшница, ничего в хозяйстве не смыслит, умеет только приказывать, чтоб сливок и масла к столу побольше подавали, да почему еще вот варенец вчера не довольно был густ. Ишь, не довольно. А варенец как мед. Уж Устинья ли не сделает первосортный варенец? Тогда кто и сделает! Вот и колдунов им сделаю на ужин таких, что и сибирские пельмени не чета. И бекасов жарю. И блинчики будут как кружево. Помажь вареньем и в царство небесное попадешь. Наготовлю им, наготовлю. Все съедят, не поморщатся, и спасибо не скажут. Да на что мне их спасибо? Я тут, у печки, сама себе барыня, как есть полная госпожа».

И Устинья, погладив по спине ластившегося к ней зеленоглазого черного кота Ваську, принялась за художественное выполнение изящно-сложного меню, перечисленного ею лишь эпизодически, а не сполна.

Правда, в усадьбе Большие Липы любили и умели поесть хорошо, да и много ведь было всякого добра кругом, в саду и в пруду, на полях и в лесах, в огородах, амбарах, и погребках, и кладовых, хотя именье было небольшое и настоящего барства там не было.

Ужин, правда, вышел на славу, и хорошо поужинать дома или в гостях у радужных друзей после целого дня охотничьей потехи и рысканья по полям, лесам и перелескам.

За ужином Ирина Сергеевна дразнила и мужа и его приятеля, то прикидывалась обиженной, то была не в меру весела и говорлива, вспоминала свое детство и дни институтской жизни, гордо похвалялась своими успехами на столичных балах, перекинулась в литературные разговоры, сообщила, что Пушкин гораздо гениальнее Мицкевича, и удачно доказывала это примерами из лирики того и другого, нашла, что Лермонтова по силе творчества и по загадочности личности даже и сравнивать нельзя, например, с Красинским, хитро умолчала о Словацком, к которому была сама очень равнодушна. Усмехнулась и сказала, что, впрочем, только синие чулки так много говорят о книгах, а что она хочет отныне целиком посвятить себя только хозяйству, но музыки, конечно, не бросит, и даже именно сегодня, в наказание им обоим за долгое отсутствие, будет им играть на фортепьяно до самой полночи.

Угрозу эту она исполнила.

В зале, уставленной цветочными горшками с причудливыми растениями теплых стран, небольшими пальмами, рододендронами, диким виноградом, плющом, кактусами, лимонными и апельсиновыми деревьями, густой и богатой звучностью запело фортепьяно, а в окно над ним гляделся тонкий серп Новолуныя. Ирина Сергеевна белго взглянула на него и начала с «Вечерней Звезды» Вагнера. Простые, красиво-печальные звуки сразу завладели воздухом безмолвной комнаты, прислушивающимся воздухом трех душ, мгновенно задувавшихся.

Есть в музыке воистину волшебная власть, которой нет ни в одном из искусств,

чье назначенье — завладевать душами, ни в зодчестве, которое, однако, зовут застывшей безгласной музыкой, ни в упоительной живописи, научающей красиво молчать и говорить тихонько и ступать осмотрительно, ни в поэзии, да, даже и в поэзии, овладевающей сердцами и бросающей влюбленных к внезапному поцелую, и зовущей к подвигам, и припоминаемой, как слово молитвы, раненным насмерть, глаза которого меркнут среди гула и рокота битвы. Единственная власть музыки, ее нездешнее, божеское преимущество сразу сливать воли и сердца, одним созвучием — почему именно этим? не скажет никто — сочетанием двух-трех звуков, и их чуть заметным уклонением к новому созвучию, их легким, звонким перебегом к другой неопределимой сказке без имени, зовом ниоткуда, узывом в никуда, этой игрой, сплетенной из паутин, что выпрямили лунные души и овеяли крылья улетающих птиц, что, улетев, всегда возвращаются в самый неожиданный миг, — власть заставить множество разных сердец, и даже вражеских, биться как единое сердце, внезапно отдохнувшее от всего, что было только что убедительно и сразу растаяло, как тень на стене от вошедшего в комнату луча, — власть толкнуть многочисленные воли, заставить их тотчас же дрогнуть и выпрямиться лучеобразно, и сумму волей сделать единицей, одной волей, волей к счастью, к правде неожиданной, к целому хору взметающихся в душе, восторженных вскриков, гласящих о радости цельного нового зрения после давнишней слепоты.

Широкие волны «Лунной Сонаты» Бетховена говорили спокойно-убедительным голосом одной души, видящей, к другой душе, которая должна, не может не увидеть.

Ирина Сергеевна откинулась в кресле и минутку отдохнула. Иван Андреевич и Огинский молчали. Им нечего было сказать друг другу, а заговорить с Ириной Сергеевной ни тот ни другой не смел. И, однако, между ними троими возник и длился сложный внутренний разговор, и всем троим казалось, что они что-то делают сообща, чего не делать не могут, чего не совершить нельзя.

Ирина Сергеевна болезненно вспомнила в эту минуту те слова, которые ей сказал за ужином Огинский. Когда она бросала свои стрелы в польских поэтов, а скорее в него, он странно на нее смотрел и отмалчивался. Когда же она потребовала, чтобы он сказал что-нибудь определенное, он промолвил: «Вы только шутите сейчас, Ирина Сергеевна. И вам, кажется, весело, а мне грустно. И так как грустно, я вспомнил строчку из Словацкого: „Biada kobietom, ktore sluchajonadto dougo szumu roaczocej brzozy“ — „Горе женщинам, которые слишком долго слушают шум плакучей березы“».

Эти слова остались без ответа благодаря тому, что как раз в это время вошла с новым блюдом служанка и разговор спутался и изменился. «Но что он хотел сказать этим? Да, конечно. Обычный зазыв. Красота путешествий. Синяя даль, за которой новый цвет, и новый цвет, и новый цвет. Кто вечно здесь, узнает ли, что там? Не каждый ли день открывает свою новую тайну, когда не стоишь на месте, а идешь и не оглядываешься? Знаю. Знаю».

Она стала торопливо и даже с беспорядочностью играть романсы Шуберта. Дойдя до одного, она опять остановилась, и ей показались совсем особенными эти простые слова: «На дальнем горизонте...». Она брала левой рукой отдельные аккорды, как бы не в силах продолжать, а в душе ее, как щебет улетающих птиц, проносились эти чеканные строки слепого поэта Генриха Гейне:

На дальнем горизонте,
Восстав как дымный лик,
Средь темных башен город
В вечерней мгле возник.
Курчавит ветер влажный
Разбег волны седой,
Печально кормчий правит,
Склоняясь над водой.
И Солнце замедляет
Свой свет, который ал,
То место указуя,
Где все я потерял.

Ирина Сергеевна вздрогнула, как бы проснувшись, с задором закинула голову, с задором проиграла картинную «Мазурку» Шопена, сыграла его «Marche Funbre», сыграла, разурмянившись, запретный польский гимн «С дымом пожаров», помедлила минуту, захлопнула крышку фортепьяно и встала.

— Спать пора, — сказала она. — Я думаю, вы оба уж спите.

— Спать так спать, — сказал Иван Андреевич. — Завтра рано надо просыпаться. — Он говорил нарочные слова, чтобы скрыть свое волнение.

Огинский молча простился с хозяйкой и пошел в отведенную ему комнату, рядом со столовой. Ирина Сергеевна и Иван Андреевич ушли к себе в спальню, в угловую комнату на втором этаже, где два окна выходили во двор, а прямо против них, на середине двора, было несколько высоких берез, два другие окна выходили в сад, и через стекла виднелись темные кусты смородины, невысокие яблони, и все та же, осенью потемневшая, черемуха, и все та же, осенью разукрашенная, рябина.

Ирина Сергеевна посмотрела в окно, выходящее в сад, и долго ее манили осенние яркие звезды. Ей казалось, что эти далекие миры, доходящие до нас, до наших глаз, лишь как россыпь серебряных и голубоватых и неясственных световых точек и гроздий и сочетаний, сливались с тайной ее хотящего, ее горячего сердца. Вдруг ей показалось, что кто-то стоит в саду и смотрит на ее окно. Она торопливо задернула занавеску и, странно улыбнувшись, спросила мужа:

— Уж скоро совы будут прилетать? Правда?

— Да, я сегодня уж заприметил в лесу одного филина, — простодушно ответил Иван Андреевич. — Хотел было застрелить его, чтоб тебя потешить. Не знаю, почему-то не захотелось поднимать ружье. Уж очень он любопытно сидел на суку. Смотрел во все глаза и ничего не видел.

Ирина Сергеевна вздрогнула, и, хотя видела, что в словах мужа нет никакого второго смысла, не сказанного, но ей на минуту стало жутко и неудобно. Она подошла к нему вплоть, молча взглянула в это родное красивое лицо с невинно-лукавыми усмешливыми глазами и, охватив его шею руками, со всей страстью предала его рту свои губы.

И поздней, когда они были в радостной ночи и рядом и он хотел овладеть ею, она, уклоняясь немножко, шепнула: «Но только завтра ты не пойдешь на охоту и никого не будешь убивать, да? Ни филина, ни даже зайцев?» — «Милая, все, что хочешь», — сказал он, блаженно хмелея.

Эта ночь была ночь страсти, ночь ласк, ночь любви. Эта ночь была предельной

чертой, когда с звездных деревьев на небе падают вниз золотые яблоки.

Ночь любящего и влюбленной, снова любящей. Встреча душ во встрече двух тел.

И когда молодая любима задышалась от счастья, она лепетала прерывающимся голосом: «Мой Ваня! Любимый!» Но в крайний острый миг пьянящего восторга, последнего, когда к лицу ее льнуло лицо ее желанного и два беспредельно были одно, в душе ее призрачно пронеслось, как шелест плакучей березы: «Зигмунт! Зигмунт!» Всклигнуло чуть явственно, пронеслось и потонуло в заглушаемом стоне полного блаженства. «Мой! Желанный».

Когда падают осенние звезды, они скользят одну секунду, две секунды и нет их больше. Но иногда звезда падучая катится, захватывая полнеба, и после нее еще теплится световая полоса. Но вот она погасла, и нет следа ее явления. А иногда — иногда совсем иначе. Падучая звезда пролетела, разорвавшись огромным огненным шаром, и кто-то где-то, потом, совсем случайно и победно, найдет обломок не нашего мира, знак небесных полетов и горений, кусок небесного железа, метеорит. И этот гость иных миров надолго останется с нами, привлекая любопытные взоры. А кто-нибудь с душой тоскующей подойдет к такому обломку, и душе его сразу станет хорошо от сознания малости здешнего и правды иного, далекого, куда влечется каждая хотящая душа. И тоскующий уйдет от такого свиданья освеженный, ступая по земле, как по звезде.

Та ночь была ночью ниспадения небесного знака. А когда блаженные уснули, на осеннем небе поднялось и стало ворожить косвенным узором троезвезде Ориона.

Это было давно-давно. Это было полстолетия тому назад.

4

Новая Луна зовет Новую Луну, и девять Лун ведут свой вещей хоровод, зовут десятую. Любящий лик смотрит в любящий лик, и, когда любовь переплеснет через край, в тайности возникает новое существо, чтоб творить жизнь, чтоб любить освеженною новой любовью Землю и Звезды, Солнце и Луну, себя и цветы, себя и материнскую грудь, таинственнее которой в ее жизнотворчестве нет ничего среди таинств красоты. В неистощимой сказке жизни, плещущей звездными водоворотами, женская тайна, материнское лоно, пребудет навсегда самым звездным знаком, пока будут в мире ночи и дни.

Девять Лун благостно колдуют в ворожке меняющихся ликов. Девять белых прях прядут в запредельности белую ткань для новой жизни. И два целующиеся рта, из ночи в ночь, блаженны, в самозабвении, не чувствуя, не зная, что уже новая душа незримо начала жить на Земле, а девять белых прях, медленно и верно, ткут и прядут тонкую ткань свежего бытия, новое лунное тело, которое будет солнечно мыслить и солнечно любить.

Благо тому, кто зачат под верным звездным знаком. Благо той малой возникшей жизни, над которой ворожит любовь, одна любовь, двойка играющая в двух сердцах, мужском и женском. Через преграды вещества до тонкой среды доходит тонкий луч. И счастлив бывает в своей жизни тот, кто еще до рожденья был благословлен ликующим чужим счастьем, не чужим, родным, счастьем двоих, которым было так хорошо от ласки, что, играя друг с другом в игру блаженства, невольно они стали отцом и матерью. От боли не уйти ни одному живому. Но и